

**Читайте в серии «Имена.
Российская проза»:**

Оксана Даровская

«Москва. Квартирная симфония»

«Неоконченный танец»

Ирина Лейк

«История Аптекаря, райских птиц
и бронзовой головы слона»

«Сто способов сбежать»

Алекс Тарн

«Четыре овцы у ручья»

Екатерина Златорунская

«Осенняя охота»

Яков Шехтер

«Водолаз Его Величества»

Анна Бабина

«Презумпция вины»

Гоар Маркосян-Каспер

«Пенелопа»

Наталья Веселова

«Олений колодец»

Татьяна Герден

«Стрекоза»

Эльза Гильдина

«И за мной однажды придут»

Андрей Убогий

Доктор

ГАЛИНА КАЛИНКИНА

ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ

*в пищу
не употребляется*

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
К17

Иллюстрация на обложке
Марины Ларченко

- Калинкина Г.
К17 Лист лавровый в пищу не употребляется : роман / Галина Калинкина. — М. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — 704 с. — (Имена. Российская проза).

ISBN 978-5-389-28639-9

1920 год. Лаврик Лантратов возвращается в Москву и сразу же попадает в водоворот событий, которые могут и должны сломить старообрядцев. Но ему во что бы то ни стало нужно выстоять: пережить развал родового гнезда, сохранить веру и себя, спасти своих близких.

На Алексеевской водокачке, в сиротском приюте и музейном бюро Лантратову и его окружению приходится делать непростой выбор: сгорая, жить по совести или бездумно плыть по течению. И что в таком случае может излечить обожженное сердце молодого человека? Возможно, любовь. Так в жизни Лавра появляется Вита, его Ландыш.

1991 год. Лавр Павлович Лантратов, проживший почти век, пишет завещание. Что осталось у него от того старого, далекого мира? Ридиколь крокодиловой кожи, барометр Карла Воткея, фантаскоп со стеклянными пластинками да папашин портсигар в двадцать золотников.

И за каждой из этих бесхитростных вещей — истории.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-28639-9

- © Калинкина Г., 2025
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
Издательство АЗБУКА®

Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано...

Псалом 107-й

ВСТУПЛЕНИЕ

НОВЫЕ ЧИСЛА И ДНИ

1

Смертный список

1991 год

На ночь всегда нужно прощаться. Вот счет окончу...

«Ложки серебряные — Миле, бусы агатовые и полуимперриал — Веке, ридикюль крокодиловой кожи и полуимперриал — Тусе, “Мозера” карманного — Товке, полуимперриал и папашин портсигар в двадцать золотников — ему же, запонки с тарантулом, перстень-печатку и полуимперриал — Мике, вазу Галлэ с черной хризантемой, серьги-“слезки” горного хрусталя и полуимперриал — снова Миле, Евгению — молчуна “Макария”, барометр Карла Воткея и “Гусляра” медного с чернилами...»

Зачеркнуть. Без чернил.

«Шуше — “Спас Эммануил”, “Спас Лоза Истинна”, “Спас Ярое око” и Матушку-“Елеусу”, фантаскоп со стеклянными пластинками для туманных картин, “Ниву” за 1911 год и альбом с карточками — ей же, Псалтирь с серебряными застежками, лестовку, молитвенник сафьяновый — Липе, “Николу дырявого”, “Николу паленого” и “Прибавление ума” в храм снести, к отцу Ульяну...» Теперь можно снести. Пусть снесут. «Дома Малый и Большой — за живущими в них. Платье — нищим. Книги...»

А что делать с библиотекой? Кому нужна пыль собрания сочинений отмененных авторов? Книга — дух, не тело, не плоть. Книга — воздух, книга — слезы; как отдашь? Про библиотеку подумать и вписать. Память на девяносто первом году принялась шельмовать. Прошлым годом сносно вела, а нынче себя оговаривает. Жил каждый день и незаметно из мальчика стал старик. Теперешняя жизнь сузилась так, что оторванная пуговица, расколота чашка, выпавший снег — событие.

Лавр Павлович выключил лампу под зеленым плафоном и тут же снова включил. Зажег от спички витую стеариновую свечу и вовсе погасил *зеленый*. В горсти трепыхалось пламя, обжигая узловатые пальцы и едва освещая спинку кровати, подлокотник кресла и угол с книжными полками — часть разгороженного, тесного, а прежде просторного, в два окна, кабинета. Опасаясь заскрипеть дверными петлями, крадучись выбрался в приоткрытую дверь и зашаркал ближе к спальне Шуши. Свет тащился за свечой через весь зал.

От оконного занавеса на бахромку гобеленовой скатерти и львиные ножки «Бехштейна» пролегла безукоризненная игла лунного луча. Приостановился у рояля, порицательно покачав головою, как на вещь странную, не входящую в его *смертную* опись. Задержался возле круглого стола, прислушался к сонному голосу из комнаты внучки.

«В горнице, где мы собрались, было довольно светильников... Меж тем отрока привели живого, и немало утешились».

— Шушка, вслух читаешь?

— «...И провожали его до корабля».

Александра шумно захлопнула книгу.

— Тсс... не греми. Спят. Ставлю вопрос: откуда это? Знакомо.

— Так...

— Уж и ответить трудно. Помешал. Всем мешаю.

— Деинька, иди спать.

— Каждый день докладываю им про болезнь «старуху-бессонницу». Не удосуживаются запомнить: прежде второго часу не почиваю.

— А нянька говорит, от бессонницы молиться святым Киру и Иоанну.

— Пустое.

— А я вот читала, древние греки под постель клали лавровую ветку, чтоб сны снились.

— Победные?

— Вещие.

— На что мне? Я все повидал из жизни своей.

— А который теперь час? «Макарий» все молчит.

— *Не на то дана ночь, чтобы всю ее спали.* Послушай лучше, что отец твой пишет.

Старик отступил с порога в темноту зала, склонился со свечою над столом и, надев очки, подвязанные на веревке вокруг шеи, громким шепотом принялся зачитывать:

— *«Люблю огни малые: ночники, настольные лампы, матовые светильники в дребезжащих вагонах, как задраенные иллюминаторы. Люблю свечи и лампы — свет утешающий. Люблю свет, дающий призрачность покоя в круге своем, обещающий увод от напастей, что во мраке за ним. Тихий свет — дар и благодать, точка притяжения. Тянет из темноты поднырнуть в круг абажура, под благодать. Люблю тлеющие угли, светотени, блики, светлячковые переливы, но не огонь яростный: не лучину, не факел, не сторожевое пламя костров у бивака. В тихом свете пишут письма, читают Псалтырь, под ним штопают и вышивают, убаюкивают дитя, творят молитву».* А теперь, Александрин, я поставлю тебе вопрос: кто из нынешних такое читать станет? В стране серой пахивает, что качествует о близости нового разлома. Я запах серы издали чую.

— Деинька, иди спать. И я ложиться стану. Папа пишет не настоящему, он будущему пишет.

— Нет, ты послушай: *«Люблю время между волком и лисицей, когда мощь дневного света притушена, когда сумерки встают над миром, неполный свет замедляет течение минут, виден сам переход от света к тьме. Выпадает суeta из рук; и руки вдруг без дела возлежат на коленях, как холмы недвижные, а взгляд устремляется в листву, в кроны и выше, выше. Какой закат нынче? Будет ли ведро завтра? Вон ласточка все норовит под стропила забиться, шурша крылом на вираже. Тише шаг, глуше звуки, медленнее речи, мягче сердце».*

— Деда, ты плачешь?

— Не помнишь, когда я последний раз плакал? Надо записать. Мне жалко сына, прежде он обладал способностями...

— Папа и сейчас такой — способный.

— Нет, шалишь. Был, да весь вышел. Благодаря матери твоей — конкубинке и мшелоимке. Трагедия вещиности. Евгений мог бы стать журналистом-международником. Но матери твоей не подходила его зарплата в газете. Оттого и микроскоп подарила, в издевку. Оскорбительно. Да, да, благодаря ей и времени благодаря он не состоялся. Не в свое время живет. Ему бы до Переворота родиться, с его-то душою. А нынче снова слишком упругое, хищное время подступает, уж я-то знаю. *Огонь, и сера, и бурный ветер — их доля из чаши...* Меня поражает в разуме близорукость твоего отца, ведь нынче лирика не у дел: *«Люблю весну позднюю — заминку, задел, паузу перед буйством цветения. Люблю предвкушение тепла, надежду на последующую ярость солнца, веселящий зной, надежду на силу Зовущего. Весна — черновик лета. Весна — благовест, наплывающий тихим, малым ходом. Еще не приход, еще не мир, но перемирие и примирение. И обещание жизни будущего века»*.

Шуша со стуком затворила среднее окно в трехстворчатой раме зала, задернула гардину, укоротив иглу луча.

— Не бурчи: папа не мог родиться прежде тебя. Пойдем-ка, провожу до ложа.

— Разумно. Какие ясные ночи, свет сквозь занавесь сочится, — старик зашаркал ногами вслед уносимой свече, — *Савл, Савл, что ты гонишь меня?* Странное начало лета.

— Отчего странное, деинька?

— В воздухе вдруг запах осени — флоксов и яблок. Прежде времени. Запах *особой* осени, осени возвращения.

— Возвращения? Завтра расскажешь. Расстелить постель?

— Расстели, пожалуйста. Но с тонким сном я и в кресле посижу.

— Чаю?

— Что ты... Разбудишь их. *Мирен сон и безмятежен даруй ми.*

— Няня спит крепко.

— А Мила с ее мигренями?!

— А Мила говорила, на ночь полезно меду — успокаивает. Соты пожуй.

— *Пищею его были акриды да дикий мед...*

— Деинька, а ты был счастлив?

— Я был молод, и вот, состарился и не видел ни праведника оставленным, ни семени его, просящим хлеба. Попрощаемся. На ночь надо всегда прощаться.

— Кабинет твой как келья. И сам ты, когда вот так склоняешься над книгой или иконой,ходишь на древнего монаха. Ты у меня самый мудрый и самый добрый монах.

— Ставлю вопрос. Не снести ли к отцу Ульяну «Николу дырявого» и «Николу паленого»?

— Ты же все говорил «нельзя да нельзя».

— Теперь можно.

— Можно? А Липа говорит, опять времена последние, порохом пахнут.

— У меня подхватила. Времена дико смотрят. Но само Время есть драгоценность, требующая охраны.

— Липа считает, самое драгоценное в нашем доме был двоежирный сундучок с тайником.

— Считать умеет. Да не то считает. Ты знаешь, кто учил ее арифметике?

— Знаю. Сто раз слышала. Во времена революции началась ваша история с Ландышем.

— Нет, после Переворота.

Девушка покрыла ноги старика кашемировым пледом, поцеловала в макушку и вышла, притворив за собой дверь.

Свеча в сквозняке погасла.

В темном зале Шушины щиколотки пронзил короткий истончившийся луч, прошел будто насквозь и пролегал дальше к «Бехштейну», уже не достав золотистых львиных лап. Нашупав, захлопнула тетрадку на столе, угодила пальцами в холодный воск. Закапал-таки. Папа догадается — читали. Ну и нечего оставлять на виду. А может, отец нарочно оставил? Обронил же: должны быть утечки. Прислушалась к бурчанию за дверью: «Завтра расскажешь... Будет ли оно, это завтра? Ложки серебряные — Миле, бусы агатовые — Веке...» Есть какая-то странность в разделе. Определенно есть. Разве у Липы спросить? У самого деиньки как-то неудобно.

Ночью особенно мрачно из своего угла выпирал накопивший тишину черный инструмент — семейное замалчивание,

тайна. Вспомнились нянькины причитания: *не убоишься от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи, во тме преходящая*. Шуша с детства перебарывала страхи таинственности вещей, заставляя себя наперекор трогать руками *страшную вещь*, отучалась от испуга перед сверхъестественным. Но сейчас отдернула руку от сумрака гладкой крышки — рояль недвижим как кадавр. Пора ложиться. «Молчун» показывал без четверти час. Напольные часы мастера Андрея Макарова, опережавшие возрастом хозяина-старика — Лавра Павловича, шли безошибочно точно, давно молча, онемев и оглохнув, забыв свой прежде басовитый и переливчатый бой.

2

Пустые стулья

1991 год

Утренний чай пили беспорядочно, в разное время.

Собирались вместе за стол обычно к обеду, в шестом часу, или чаевничать перед сном, часу в девятом.

Теперь рано разбежались по делам: без завтрака умчалась Шуша, за дочьрью, спешно перекусив, ушел Евгений. Мила собралась на службу, глотая на ходу горячее молоко с медом, обжигаясь — так некстати, летом, першило горло. Отдала няньке Липе указания на день, главное — не болтаться одной на рынке. А после ухода домоправительницы, размеренно выпив две чашки чаю с оладьями, прибрав за всеми на кухне — большего ей делать не позволялось, и Липа пошаркала длинной верандой вдоль дома. Еще не согбенная, с ясными, живыми глазами, отчетливым голосом, разве что слух подводит. Но пытлива и внимательна к жизни, хлопотлива, любопытна и памятьлива. Оставленная ею горка оладий дожидалась не вышедшего к завтраку Лавра Павловича. Должно быть, опять полуночничал.

Горбатым мостком над оврачком от пущенной давным-давно под землю Таракановки перебиралась нянька на запретный базарный рай. Много лет разными временами и погодями

она толкалась на рынке, выменивала, торговалась, собачилась, ловчила, изворачивалась, лгала, отстаивала свое, чтобы в семье имелось в достатке молоко, яйца, хлеб, сахар и вкусненькое к вечернему чаю. Нынче больше ходила по привычке.

Дома оставался один Лавр.

Если не дремал и не работал, то отдыхом его было хождение по комнатам в раздумьях. Бродил взад-вперед, не косясь на зеркало и не оглядываясь. А если б оглянулся, увидел бы высокого сухопарого старика, с седой копной, серебристой окладистой бородой, в синей вельветовой куртке поверх сорочки. Но он не оглядывался. Некогда. Мысли наплывают.

Как странна Липина жизнь! Маленькая, скудная жизнь, вся на глазах, на людях, на вторых ролях, на задворках, без своего угла, своего дома. Значит, можно жить и без венков лавровых? Все ее счастье в счастье семьи, где она с пятнадцати лет. Дети, выращенные ею, не ее собственные. И всегдашняя величайшая Липина забота — благополучие их. Удивительное в ней умение: продлевать чужую радость. Всех в доме она любит, и нет у нее никого ближе. А что же у Липы своего? Воспоминания о Верее? Детство? Сватовство? Ничего великого совершить не удалось: многие проживают жизнь не ярко. Но не все тем довольны. А у нее равновесие, размеренность во всем и свое особое, почти детское отношение к вере. Чем она живет в нынешней своей поре? Думами о том, что было, чего не было и что могло бы быть с нею. Воспоминаниями о былом и мечтами о возможном, несбывшемся. Переживаниями за домашних и хлопотами. Значит, и так могут быть счастливы люди?

Лавр задержался у барометра Карла Воткея. Из домика вышла женщина, мужчина же показал спину в дверях; знать, будет ведро. Вот как бургер из дома выйдет, а бургерша спрячется, жди дождей.

В прежние годы в Большом доме в Алексеевой слободе и зал в три фасадных окна имелся, и комната-библиотека, и кабинет, не разгороженный еще, и детская, и диванная на террасе в сад. Застекленная веранда опоясывала весь дом со двора, идя от крутого уличного крыльца, вдоль зала, перетекая в кухню и горницу для прислуги.

Братья Лантратовы женились, обростали семьями, строились. Так в слободке возле храма Илии Пророка вырос новый Большой дом с перепадами в полах, с чуланчиками, антресолями и лесенками. Потом семья разрослась до размеров рода, и во дворе с качелями и калиткою в сад примостился флигелек — дом малый. И Малый пустым не стоял, вскоре заселился. В Большом отмечали торжества: то именины, то рождения, а после — все больше похороны да поминки. В нагрянувшие времена уплотнения всех домочадцы занимали Большой, а в Малый въехал клуб шведов. Лавр едва сносил, глядя, как *повсюду* и в самом доме его хозяйствуют пришлые, чужаки. Но один человек, его Ландыш, умел усмирять укором или молитвой. Почти два года спустя под Рождество временщики неожиданно съехали, получив где-то на Заставе Ильича большее помещение под свои собрания. Флигель высвободили и больше не зарились, а домочадцы Большого дома не стали ничего разгораживать в память о «тесных временах». Пускай диванная превратилась в склад дров и овощей, пусть горка-махагон, комод красного дерева, качели и садовые лавки на топку истратились, зато все дивились чудесному освобождению под праздник.

Когда супруга Лавра Павловича ушла, когда дети выросли и разъехались — все стало неважно. Словно в утешение, место под могилу досталось хорошее, почти что под церковной стеною, неподалеку от часовенки монахини Гавриилы. Переживать горе в семье совсем не то, что в одиночестве: череда событий забирает на себя скорбь, поминовение и мысли о необратимом. В храме Илии Пророка первым годом священствовал отец Ульянов, Ульянов Алексеич Буфетов, из местных, сговорчивый в мирских делах и непримиримый в догматах веры. В кончину супруги Лавра Павловича он мягко поддерживал горящего, давая утешение без излишнего взаимного приближения.

Время шло и, казалось, исцеляло. Да разве любовь — болезнь? Разве любовь излечима?

Слободка зарастала вокруг каменными башнями, как зубцами крепостной стены. По вечерам окна Большого дома слепили огни девятиэтажек, неоновые вывески рекламы. Город пульсировал электричеством, неживым светом, запитанным

в цепь событий и обстоятельств. Среди новостроек два осевших, выросших в землю лантратовских дома, с дубовыми ставнями и резными наличниками, с навершиями и кокошниками, с берегинями и прибогами, стоявшие почти на краю овражка, оставшегося от пущенной в землю Таракановки, гляделись как захолустное умирающее поместье, как палаты древнего городища: и снести недосуг, и оставить не к месту. Флигель все больше пустовал. Его содержали в порядке на случай приезда кого-то из родни: зимой протапливали, летом проветривали; в нем лелеяли надежду на воссоединение семьи.

Шли дни, а к Лавру так никто и не ехал: ни Анатолий, ни сын Евгений, ни дети их Мика, Туся, Века и Шуша.

Вечное ожидание. Вечное.

У Лавра Павловича как-то сразу не задалась отношения с обеими невестками. Сыновья взяли сторону жен, не приняв суждений отца, — отсюда распад семьи. И при разъезде, назревшем сиротстве дома Лавру обидным казалось расставаться с каждым из четверых внуков, но именно Шушу, Алексашку, Александрину он отпускал тяжелее всего — младшенькая, крайняя. И со временем ему, уже умудренному и отринувшему гордыню, не доставало радости житья из-за разлуки с младшею.

Так и куковали втроем: вдовец с дочерью — старой девой да нянька. Дом держала Мила, характер ее выковывался годами неразменянного девичества, невысказанной жалостью родных, потаканием домочадцев из-за боязни огорчить *несчастливицу*. В вопросах домашнего уклада сам хозяин и нянька Липа — Олимпиада Власовна — подчинялись строгим приказам своей домоправительницы. Мила всю жизнь проходила на работу в статбюро и школу, чередуя «службу» с «призванием». Хотя в свои высокие годы давно могла позволить себе не работать. А когда домашние увещевали ее, отвечала с прямоотой и резкостью: «А что я дома-то делать стану?» Спрашивающие отставали, размышляя над продуманностью жизни. Несла история Милы одну из тайн лантратовского семейства.

И все же, и все же.

Должно быть, крайняя, младшенькая Шуша — лицом копия его Ландыша — успела в детстве нацедить себе любви

дедовой, потому и вернулась из Гатчины в слободку взрослой барышней, спустя почти что десять лет разлуки. Возвращение вышло через одну тонко состряпанную аферу.

Утром дом опустел.

Сегодня все рано разбежались по делам. Умчалась Шуша, поспешил и Евгений, Мила с больным горлом отправилась на службу, нянька — надзирать базар. Лавр прошелся по комнатам, подметил: нынче шаг его схож с бесцельным, кружным шарканьем няньки. Дошел от окна до окна — день прожит. Стариками стали. А старик — собеседник самому себе, человек с часами в руках. Старятся вместе все те, что были вместе и молодыми. Старятся вместе с вещами. В вещах сокрыта жалость. Нет, не говорите, жизнь и в старости хороша, так хороша! Надо проходить ее без опаски, без ропота, кротко ощущая приближение самого непонятного, не открытого человеку. Старость — время смягчения.

Сколько лет прошло после ухода Виты, его Ландыша? *На ночь нужно всегда прощаться.* Все, должно быть, считают, он и горевать перестал. А он просто перед ними не открывается да все говорит, говорит с нею изо дня в день. Вот и нынче, и третьего дня беседовали. Горло берегу, не пью холодного. Капли принимаю на ночь. Долго не читаю, не читаю. Берегу глаза. Зачем?

Следом за нею чего ж сразу не подался? Взмахнул бы крылом, *чтоб далеко не отстать.* Да разве их, тех, кто там уже, догонишь... А теперь и подавно. Но она обещает дождаться, встретить. Без нее-то будто жизни убавилось, от света, от времени, от дня и ночи убавилось, она и сама была жизнь — *vita*, Вивея. Надолго он ее пережил. Но каждый одинокий его день оставался днем сосредоточенного вдовства.

Пройдя комнаты и не отыскав ни одной вещи в неположенном месте, старик вернулся в кабинет. Здесь пахло ландышевыми каплями. Молчун «Макарий» с тех самых баламутных времен стих. Страшные долгие зимы тогда стояли. Лишь флигель дышал теплом, там красные шведы заседали. Стены Большого дома промерзали до инея внутри. А после отходили сыростью. И тени укутанных бесформенных тел мрачно-

го Большого дома вглядывались в пылающие светом и теплом окна дома Малого. Часовой механизм чувствителен. Сначала «Макарий» сбавил басы, стал бить гонг с дрожанием, хрипотцой, вскоре осип и вовсе умолк. С тех пор и спасается молчанием, как затворник.

А нынче и печь затихла на лето. И кенарь молчит. Ах да, кенарь сдох прошлым годом. Все на местах, и вещи давят своей вещественностью. Старые вещи вызывают жалость. Вещи вообще доказательства несчастий. Ты хочешь забыть, а они тебе упрямо выказывают горе. Вот как пустые кровати. Или лишние стулья за столом. Вот и «Макарий» напоминает. Декретом отменили время, как буржуйский анахронизм. Соседи тогда советовали маятник тряпочкой подвязать. Да голос у «Макария» и так сорвался.

Все вещи бездушны, но одухотворены либо мастером, либо владельцем. За вещь говорит клеймо, проба, ярлык, мета, и многое может рассказать, только спроси. Старик любит вещи не как старьевщик или антиквар, берегущий и ценящий, не как бедняк любит вещи, приносящие пользу. Старик Лавр любит вещи, возбуждающие привязанность памяти. Разворачивающие память. В вещах живет тишина. Но вещи не всегда тихи. Пока память не восстанет да не возопит. Вещи держат атмосферу только в сочетании, особом порядке. Попробуй разрознить — и атмосфера исчезнет. А если человеку без надобности новые вещи, тут бы старые не утратить, то человек тот, должно быть, на последний свой путь вступил. Новая вещь не успеет вобрать в себя память. Бесполезна старику новая вещь. Старик тихо восходит к смерти.

Лавр имел привычку определять каждой вещи ее место и не держать ничего лишнего возле себя. Но ведь бывают на свете вещи, которые не имеют своего места. Так и люди. Нагромождения обычно сердили старика как несовершенство, сбой гармонии. В невероятных дебрях вещей и предметов люди ориентируются и ухитряются управлять ими. Или вещи управляют хозяевами? Нынче все вещи на своих местах. И книжный шкаф-махагон — последок от гарнитура-погорельца — кургузо выпячивает грудь. И «Бехштейн» вопрошает. И печь немотствует. И стулья лишние громоздятся.

Господи, освободи от вещей, а память не забирай! Временами тих мир твой, тих и чудесен! Слышен дождь. Хлещет струями. И помимо дождя — тишина. Не разобрать, что говорит Вита. Не зря вернулся в кабинет. Тут форточки закрыты и тишина гуще, значительней. И ландышевыми каплями пахнет. Как же может идти дождь, если бургер вошел в дом, а хозяйка из дому вышла? Не врет ли «Воткей»?

— Вот дождь льет. А говорят, что Бога нет.

Нянька бормочет чего-то.

— А?

— Какой дождь-то хороший! А все говорят, Бога нет.

Так нянька же на рынок ушла?!

Мила запрещает няньке по улицам шататься. Вечная у них контроверза: одна из дому, другая следом на базар.

За шумом дождя не слышно Виты. Что она говорит ему? *Дождь ничему не мешал. Дожди там* подавно ничему не мешают. А ведь сам он и не поднимался из кресла. Сидел и молчал. Смотрел на лик Спаса Лоза истинна. И Спаситель смотрел на него. Им вдвоем хорошо. Будто Херувимская неподалеку слышалась, не перебиваемая дождем... И только казалось, будто ходил по комнатам. Он даже почти уверен, что ходил. Или это вчера было? Спросить у Шуши. И записать. Не отвлекаться. Время нынче твой гонитель. *Вот, Ты пядями измерил дни мои, и естество мое — как ничто пред Тобою.*

«Ложки серебряные — Миле, простые — Липе...» А кому поставить в завещание самого Лавра Павловича Лантратова? Все пережитое им, прочувствованное, осмысленное почти за век? Кому поставить в завещание память старика? Великая радость, если приготовления твои к часу смертному и посмертные распоряжения идут в таинстве любви, кротости прощения, не в упреке к тяжелой, ненасытной на беды жизни. Великая радость.

Вот собрать бы своих за столом, и норовистых Мику с Тусей, и флегматичную Веку, и пылкого Товку, всех-всех. Усадить на пустые стулья. *Приидите, соберитесь все и восплачтитеся о душе моей.* И хотя все состоялось, хотя в жизни выше ничего не будет, все же его жизнь еще идет. Им кажется, их жизнь идет. Нет, бросьте, это его жизнь тлеет, Лавра Павловича, Лаври-

ка, корсака, лисенка, имярека, и они внутри его жизни. А вот уйдет он, и потекут их жизни с кем-то другим внутри. Всему свой отмеренный срок. Всякому своя мерная икона. *Вот и секира при корене древа моей жизни лежит... Ежеминутно ожидаю посещения.*

Собрать и объявить им с голоса: иду к Солнцу, обсудим-ка... Мила наверняка тут же оборвет и съязвит: аспекты мироустройства? А вот и не аспекты. Нужно сказать им о чем-то исключительном, что связано им самим, а разрешаться не здесь будет. Собрать. Раздать все. Смертный должен уйти христарадным котомником. Раскрошить свое счастье и вложить в руки другим. А коли жалеешь отдавать медного «Гусляра» или «Спаса Ярое око», никудашный из тебя христианин. Непременно собрать за столом, непременно раздать. Не помереть прежде или прямо в застолье. Не испортить *последнего* обеда. Мир таков: протяни руку, шаг сделай — и ты опрокинут. Никто не знает своего предела. *Покажи мне, Господи, конец мой, и число дней моих, какое оно.* Умереть — всего лишь отжить. Смерти бояться? Нет. Ведь снимут пятаки, глаза отворишь в той же действительности, какую сознавал. А другая нить воображения завьется в тебе и раскроется.

Идея созвать всех овладела им жгуче, как нечаянная радость овладевает поперек горести. И бывшее, и будущее теперь виделось как бы сквозь *тусклое стекло, гадательно*. Тогда же лицом к Лицу предстать придется. И с Ландышем свидеться. И с мамой. И с отцом. И с Ним. Радости-то сколько.

А ведь там, за облаком, почти все родные, старшие, собрались. И у них там, как и здесь, пустуют стулья. Ждут. Его ждут. Старость — время смятения. Жизнь подходит к Началу. Чем кончается смерть?

Старик скрывал от своих, что нынешним летом он составляет завещание. Как известно, *где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть, смерть завещателя.*

ПРОЛОГ
СТАРЫЕ ЧИСЛА И ДНИ

1
Проходящие как деревья
1913 год

Черпаков предпочитал, чтобы к нему обращались: «Док». Носил с собой *шагреновой* кожи «докторский саквояж». Никогда не раскрывал его на людях, содержимым его прилюдно не пользовался. О наполнении саквояжа окружающим оставалось только догадываться. Но все собиравшиеся по четвергам у Евсиковых знали: Черпаков окончил лишь курсы ветеринаров. Зато Док умел пространно порассуждать о несовершенстве человеческой породы, о тайных страстишках, о вреде гомеопатии, о высокой литературе. Преподавал весьма противоречивые познания виртуозно, с апломбом мастера, грамотея, разбирающегося в проблеме. Со стороны казалось, каков тот Черпаков уникам — дока во всем и вся, за что ни зацепись умом. Но ничего своего — все заимствованное. Когда разглагольствующий ветеринар сильно завирался в вопросах анатомического строения тела либо в аспектах ментального расстройства и тонкостях сахарного мочеизнурения, профессор Евсиков осекал его предостерегающим «Коллега?». Док как будто бы давился, сжевывал слово, проглатывал, но, в секунду оправившись, уверенно и безапелляционно принимался развивать тему засолки луховицкого огурца без кипячения воды. На процессах соления и маринования профессорское внимание обычно рассеивалось. Но стоило стремительно терявшему интерес общества Черпакову вернуться к академическим

темам, как его вновь настигало деликатное профессорское: «Коллега?»

Док из тех людей, какие, кажется, позвякивают при ходьбе. При взгляде на них сперва замечаешь массивную цепочку от часов, брелоки у пояса, выдающиеся запонки, перстень-печатку во всю фалангу, а потом ищешь шпоры на туфлях; их наверняка нет, но ты ищешь. Кажется, у подобных персонажей в кармане жилета припрятаны вещицы на разные случаи и ситуации. Понадобись вам сейчас секундомер, увеличительное стекло, транспортир, компас, пилочка для ногтей, ножницы или пинцет — они непременно отыщутся у Черпакова. Такие люди любезной угодливостью и всегдашней пригождаемостью обществу доказывают в первую очередь себе и миру великую их полезность, пряча при том болезненную ненужность кому-то одному, близкому. Док умел перемещаться за спинами сидящих так, что цепко держал внимание; собравшиеся у стола вынужденно крутили головами, выворачивали шеи. При выдающейся худосочности и вертлявости вещал поставленным голосом псаломщика, владея полной октавой, снижая регистр от басов до вкрадчивого шепота. Хотя в церковь заходил лишь послушать хоры и раз в год на Пасху непременно в храм Христа Спасителя, непременно на Собинова с Шаляпиным. Знаменитые тенор и бас выдавливали слезу у публики своим невероятным исполнением «Чертог твой вижу, Спаситель». Ораторствуя, Док на ходу поглаживал лысый череп с разными мочками ушей — отвислой и приплюснутой, как будто заранее внутри себя изумлялся, готовясь изумить публику. Мягко скользил меж кресел, вкрадчиво шепча и нагнетая, потирал холеные руки, оберегая их словно тапер, а не коновал. Любил наклоняться к уху собеседника и с придыханием сообщать свежую апокалипсическую новость. В паузе громко хрустел суставами пальцев, с щелчком вправляя их на место, эпатируя и смущая дам, раздражая мужчин. Потом заглядывал в глаза, ожидая *резонанс*, и едва не стонал вслух от наслаждения, получив ожидаемое. Иной раз допускал кабацкий анекдотец, скабрзную шутку, пошловатый намек, за что его в здешнем обществе недолюбливали, но прощали как вычурному, испорченному, болезному.

Литературно-художественное издание
Әдеби-көркем басылым

Калинкина Галина
ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ
В ПИЩУ НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ

Ответственный редактор *М. Смылова*
Художественный редактор *А. Демочкина*
Технический редактор *Л. Синицына*
Корректоры *О. Левина, О. Ануфриева*
Компьютерная верстка *Е. Зеленина*

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 05.05.2025.
Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Spectral».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 44,0.

Тираж 3000 экз. Т-РР1-37750-01-Р. Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» — обладатель товарного знака Азбука® 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	Өндiрушi: «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» ЖШҚ — Азбука® тауар белгiсiнiң иесi 115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 Эл. поштасы: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» в г. Санкт-Петербурге 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12–14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru	Санкт-Петербург қаласындағы «Азбука-Аттикус» Баспа Тобы» ЖШҚ филиалы 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12–14-үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 Эл. поштасы: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru
Отпечатано в России.	Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растуа туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі (29.12.2010 ж. № 436-ФЗ Федералдық заң)

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. не распространяется.
Балаларды денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін ақпараттан қорғау туралы»
29.12.2010 ж. № 436-ФЗ Федералдық заңы қолданылмайд.

